

## НОВЫЙ МИР В РОМАНАХ-АНТИУТОПИЯХ ЗАМЯТИНА И ОРУЭЛЛА

Керопян Ц. А.

Испокон веков человеку свойственно, не довольствуясь существующим порядком, мечтать о будущем счастливом мироустройстве или о былом сказочном великолепии жизни. Жанр литературной утопии получил свое название от знаменитого романа Томаса Мора «Утопия». Конечно, задним числом нетрудно найти множество образцов этого жанра среди сочинений античных авторов и представителей неевропейских культур. Однако нужно отметить, что современная литературная утопия — потомок именно книги Т. Мора, написанной в 1515-16 годах. Ему удалось соединить два возможных греческих эквивалента: *eujtoriva* и *oujtoriva*, то есть «хорошее место» и «место, которого нет». Однако за прошедшие столетия слово утопия стало довольно многозначным. Как справедливо заметила В. Чаликова: «... Пересматривается история утопической мысли, переоцениваются старые трактаты и романы об идеальном обществе. Исследователи видят в них уже не реликты безумных надежд, а предвосхищение «нового мышления», столь необходимого XXI веку»<sup>1</sup>. Непременным условием почти всякой утопии является лишь то, что утопический идеал отделяется от неустраивающей утописта реальности каким-либо хронологическим или пространственным расстоянием. Независимо от того, будут ли это ныне существующие, но почти не достижимые счастливые страны или острова, далекое мифическое прошлое или рисуемые пророческим воображением образы будущего, в любом случае утопический идеал строится на противопоставлении его существующей действительности, на произвольном мысленном изъятии из этой действительности всех присущих ей «минусов» и компенсирующей подмене их недостававшими прежде «плюсами». «Утопизм, — пишет К. Чистов, — это одна из типичных форм критического осмысления действительности, выражение неудовлетворенности ею, желание преодолеть ее вопиющие недостатки, сопоставить действительное и желаемое»<sup>2</sup>. Утопия — это именно образец, к которому реальное общество должно стремиться и приближаться (конечно, по мнению автора утопии). Мотив долженствования — важнейший признак утопии, лишенное его сочинение просто не может быть признано таковой.

В эпоху торжества утопических проектов, когда только мечта перестала удовлетворять человека, появляется новый философско-художественный жанр XX века — антиутопия, «то есть образ общества, преодолевшего утопизм и превратившегося вследствие этого в лишенную памяти мечты «кровавую сиюминутность» — мир оруэлловской фантазии»<sup>3</sup>. В этом разграничении как раз и осуществляется переход к полноте человеческого существования, как правило, трагический для тех, кто его осуществляет (погибает герой Оруэлла Уинстон Смит («1984»), а замятинскому герою («Мы») путем оперативного вмешательства вырезают фантазию для полного подчинения). Антиутопию как жанр определяет спор с утопией. В утопиях рисуется, как правило, прекрасный изолированный от других мир, предстающий перед восхищенным взором стороннего наблюдателя и подробно разъясняемый пришельцу местным «инструктором» — вожатым. В антиутопиях основанный на тех же предпосылках мир дан глазами его обитателя, рядового гражданина, изнутри, дабы проследить и показать чувства человека, претерпевающего на себе законы идеального государства. «Выражаясь по-научному, — пишут И. Роднянская и Р. Гальцева, — утопия

социоцентрична, антиутопия — персоналистична»<sup>4</sup>. Конфликт личности и действующей системы становится движущей силой любой антиутопии, позволяя познать антиутопические черты в самых различных, на первый взгляд, произведениях.

Роман «Мы» не только самое значительное произведение Е. Замятина, но и наиболее яркое воплощение жанра антиутопии в русской литературе. Джордж Оруэлл написал подобное произведение позже, в 1948 году, опираясь на реалии тоталитарной Германии Гитлера и сталинской эпохи в СССР. Замятин же, один из немногих, смог уже тогда, в двадцатые годы, предвидеть трагедию тридцатых, предвидеть наступление того начала во взаимоотношениях личности и государства, которое оставляет решение всех вопросов государству, а личности — самозабвенное выполнение этих решений. Возникло общественное явление, которое он сам называл «каким-то новым католицизмом». Все возможные превращения в условиях такого «проекта» он отобразил в романе «Мы». Конечно, есть разница между жанрово «строгой» антиутопией Замятина и «реалистической фантазмагорией» Оруэлла. Но эти произведения дают возможность разглядеть тип идеального общества или «эстетической подчиненности», «идеальной несвободы» (формулировки из «Мы»). Но как выясняется, несвобода не может быть ни благоустроенной, ни изобильной. В таком мире может царствовать только дефицит, где попеременно с прилавков исчезают некоторые товары, а служащий аппарата не может достать даже бритвенные лезвия и горсть натурального кофе («1984»), или, где после окончания Двухсотлетней Войны между городом и деревней, человечество решило проблему голода — была изобретена нефтяная пища, однако при этом выжило 0,2% населения земли («Мы»).

Режим государства Океания («1984») может быть определен как тоталитарный. В стране правит одна массовая партия, которой и принадлежит политическая власть. Вершиной этой пирамидальной структуры является единоличный глава государства — Старший Брат. Он непогрешим, всемогущ. Все успехи, достижения, победы, научные открытия, все счастье и вся доблесть непосредственно проистекают из его руководства и им вдохновлены. Старшего Брата никто не видел, но его лицо с черными усами (узнается портрет Сталина) — повсюду на огромных плакатах с надписью: «Старший Брат смотрит на тебя». Никто не знает, когда он родился, и неизвестно, жив ли он вообще. Может быть, его даже не существует, поскольку — это скорее всего образ, в котором партия предстает перед страной. Назначение его довольно просто — служить фокусом для любви, страха и почитания — чувств, которые легче обратить на отдельное лицо, чем на целую организацию.

В романе Замятина действует Единое Государство, которое стремится распространить свои формы организации на окружающий мир. Буквально в первой же записи Д-503 (люди в романе не имеют имен, а только номера) читает в Государственной Газете (других, конечно же, не существует), что заканчивается постройка космического корабля, названного «Интегралом», и далее: «Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, — быть может еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, — наш долг заставить их быть счастливыми»<sup>5</sup> (сравним: «Железной рукой загоним человечество в счастье» — лозунг создателей Соловецких лагерей). Руководит же такой страной Благодетель, «многократно доказывавший свою мудрость». Нельзя не заметить едкую иронию автора о выборах Благодетеля и Дне Единогласия: «Разумеется, это не похоже на беспорядочные,

неорганизованные выборы у древних, когда, смешно сказать, – даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую – что может быть бессмысленней? И все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это»<sup>6</sup>.

В оруэлловской Океании в каждом доме работает телекран: он следит за человеком и его мыслями. Каждое слово, сказанное даже шепотом, доходит до его слуха. Его нельзя выключить – только убавить звук. Он может постоянно вмешиваться в частную жизнь. Увидя что-нибудь необычное, резким, громким и жестким, как выстрел, голосом сделать замечание, приказать, одернуть и т. д. От него не избавиться нигде, даже за городом, так как там могут быть встроенные портативные микрофоны. А наблюдает и слушает все это специальное учреждение, так называемая «полиция мыслей». В таком государстве бояться нужно было абсолютно любого – от ребенка-малыша до пожилого. Каждый человек следил за каждым другим, то есть друг за другом. Заветное желание полиции мыслей – научиться самим, либо же с помощью телекранов читать и узнавать мысли человека без его ведома. И страшнее не преступление действием, а преступление мыслью, то есть мыслепреступление, за которое наказание гораздо страшнее.

В Едином Государстве Замятина люди живут в многоэтажных домах с прозрачными стенами, благодаря чему за ними можно беспрепятственно вести наблюдение. Мотив стекла символизирует парадоксальное сочетание вынужденной «публичности» существования, жизни с разъединенностью людей, так как стекло не только открывает глазу жизнь другого, но и служит невидимой границей, преградой – кажущаяся доступность взгляду не означает родства, даже простого знакомства. Со стеклом связано представление о хрупкости и непрочности – еще одно напоминание об искусственности, рукотворности такого миропорядка. Ведь даже Зеленая Стена, разделяющая «дикое» пространство от Единого Государства, отлита из «самого незыблемого, вечного стекла». Поэтому не случайно, что Стена рушится в период революции. Хрупкость символизирует мотивы упрощения: номер вместо имени, серо-голубая юнифа в качестве одежды для всех видов (униформа), прогулки в шеренгах, любовь по розовым талонам – таково гротескное выражение идеи упрощения. Внешне схожие, они ничем не отличаются и внутренне. Поэтому и с гордостью восклицает герой Д-513, восхищаясь прозрачностью жилищ: «Нам нечего скрывать друг от друга», а государственный поэт R-13 вторит ему: «Мы счастливейшее среднее арифметическое». Одинаковостью, механичностью отличается вся их жизнедеятельность, предписанная Часовой Скрижалью. Согласно Скрижали, упорядоченно не только пространство, но и время, то есть вся материальная область человеческого бытия: «...Часовая Скрижаль – каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту – мы, миллионы встаем, как один. В один и тот же час, единомиллионно начинаем работу – единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, подносим ложку ко рту, выходим на прогулку и идем в аудиториум... отходим ко сну»<sup>7</sup>. Гармония этого мира – гармония простых линий, как будто взятых из учебника планиметрии и в которых также нет места фантазии: «непреложные прямые улицы... божественные параллелепипеды прозрачных жилищ», «квадратная гармония серо-голубых жилищ». Мир ясных истин, мир незыблемых очевидностей, «математически безошибочная мораль» неизбежно приводят к представлению о ничтожной ценности человеческой личности. Описывая испытания «Интеграла», Д-503

рассказывает, как при запуске двигателя под его пламенем «оказался с десяток зазевавшихся нумеров». С особой гордостью он говорит о том, что ритм общей работы «от этого не споткнулся ни на секунду», люди и станки – герой отождествляет здесь машины и станки – продолжали свое движение, как будто ничего не случилось. Но это отнюдь не свидетельство какой-то душевной черствости. Здесь имеет место новая мораль: «Десять нумеров – это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах – это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: она нам смешна»<sup>8</sup>. Математически обосновывается и связь между свободой и преступлением: «Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как... ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – избавить его от свободы»<sup>9</sup>. Лишить возможность изо дня в день выполнять одни и те же функции – значит лишить счастья, обречь на страдания, о чем свидетельствует история «О трех отпущенниках». Образ «Мы» – это степень единения, где всяческая индивидуальность оказывается просто смытой. У нумеров не может быть индивидуальности, на то они и нумера, чтобы отличаться только своим порядковым числом. Коллективное стоит в таком государстве на первом месте: «Мы» – от Бога, «Я» – от дьявола»<sup>10</sup>. «Ведь чувствуют себя, осознают свою индивидуальность – только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб – их будто нет. Разве не ясно, что личное сознание – это только болезнь»<sup>11</sup>, – вопрошает несчастный повествователь Д-513. Он уже переступил закон, что начал писать дневник, как и герой Оруэлла – Уинстон – купив у старьевщика тетрадь для записей, решившись на «мыслепреступления», изливая их на бумаге.

Глубоко закономерно, что повествование в романе и Замятина, и Оруэлла представляет собой дневник главного героя. Обращение к этой архаической повествовательной форме, найденной еще сентименталистами, сделавшими интимный документ эстетическим фактором, в этих произведениях («Мы», «1984») являет собой феномен прямо противоположный. Ведь в результате дневники героев знаменуют собой вопиющий контраст между тем, что призвано демонстрировать душевный мир человека, ценный прежде всего именно своей уникальностью, и добровольным полным отказом от этой уникальности, боязнь ее и бегство от нее, ставшее неизбежным в мире, в котором существуют герои.

Рассказчик в романе Замятина, номер Д-503, – «только один из математиков Единого Государства», заветная мечта которого – «проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение», «разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая, мудрейшая из линий». Идеал жизненного поведения – это «разумная механичность», все выходящее за ее пределы – «дикая фантазия», а «припадки вдохновения» – неизвестная форма эпилепсии. Именно фантазии больше всего пугают замятинского героя. Любые проявления жалкой свободы «я», выражающейся в малейшем отступлении от бесчисленных запретов, узаконений, распорядка дня, воспринимаются строителем «Интеграла» как помещение себя в положение -1, как превращение в иррациональное, мнимое число. Уподобляя законы человеческой жизни законам физики, герой Д-503 обосновывает бесправие отдельной личности: «... допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну, – это совершенно одно и то

же. Отсюда – распределение: тонне – права, грамму – обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты – грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны...»<sup>12</sup>.

Замятин изображает духовную эволюцию героя, прослеживает, как от осознания себя микробом в этом мире приходит к ощущению целой вселенной внутри себя. Д-503 не дают покоя носы, которые при всей одинаковости номеров сохраняют разные формы (носы «пуговицей» и носы «классические»); личные часы (всего два часа), который каждый проводит по-своему, и многое другое. И хотя герой пытается отогнать от себя эти неуместные мысли, в глубине сознания он догадывается, что в мире есть еще что-то, не поддающееся логике, рассудку. Более того, в самой внешности Д-503 есть нечто, мешающее ему чувствовать себя идеальным номером, – волосатые руки, «капля лесной крови», крошечные рудименты человеческой природы, не подвластные Единому Государству. Однако бурные перемены начинают происходить с ним с того момента, когда в его жизнь входит революционерка 1-330. Первое ощущение душевной болезни приходит к герою, когда он слушает в ее исполнении музыку Скрябина. Такая музыка является символом иррациональности, непознаваемости человеческой природы, воплощением гармонии, не проверяемой алгеброй, заставляющей звучать самые сокровенные струны души.

Главной деталью портрета 1-330 в восприятии героя становится икс, образованный складками возле рта и бровями. Икс для математики – символ неизвестного. Так на смену ясности приходит неизвестность, на смену ясной цельности – мучительная раздвоенность. Раздваивается и восприятие героем мира. Ясное безоблачное небо постепенно превращается в сознании героя в тяжелое, чугунное. Меняется и речь героя. Обычно логически выстроенная, она становится сбивчивой, полной повторов и недоговоренностей. И дело не только в смятении, в эмоциональном предельном напряжении, переживаемые героем, но и в том, что слова любви, ревности незнакомы ему. Д-503 привык к отношениям с женщинами как к «приятно-полезной функции организма», как к выполнению долга перед Единым Государством. Любовь к 1-330 – это нечто совсем другое. Она не случайно пронизывает все повествование. Именно в этой достоверной человеческой драме находит образное воплощение главная мысль Замятина – его тревога о человеке, его надежды и сомнения о светлом будущем. В романах Замятина и Оруэлла мы видим одну из традиционных схем антиутопического романа – слабый, колеблющийся мужчина и сильная волевая женщина, стремящаяся своей силой чувства возродить его жизненную активность. Манящая к себе женщина выталкивает героя из его привычной колеи общепринятого жития в другую реальность, в круг неведомых радостей и тревог, представляющий опасным и влекущим одновременно. Однако для этого мира, в котором существуют герои Замятина и Оруэлла, это не просто очередная драма встречи мужчины и женщины – это потрясение самих его основ, опровержение его фундаментальных запретов на личную жизнь «номеров». Обычная земная история наполняется у Замятина, как, впрочем, и Оруэлла, онтологическим смыслом. Влюбившись в 1-330, герой Д-503 («Мы»), как и Уинстон Смит, полюбив Джулию («1984»), уже рискуют своими жизнями. Ведь эротический порыв карается как уголовное преступление. Браки разрешаются по специальному партийному мандату и только в целях деторождения («1984»). А чтобы не было зависти, чтобы один не был счастливее другого, а отсюда и бесконечно предан Единому государству, был введен пресловутый *Lex sexualis*: каждый принадлежит всем остальным («Мы»). И у Замятина, и у Оруэлла любовная история перемещена с участием в «подпольном

движении сопротивления». Повстанцы Замятина не только замышляют низвержение Государства, но даже предаются при опущенных шторах таким порокам, как курение сигарет и употребление алкоголя, а Уинстон Смит и Джулия балуются «настоящим кофе с настоящим сахаром» в убежище над лавкой мистера Чаррингтона.

Дом и семью в старом понимании слова новое общество исключает. В романе Замятина дети не знают своих родителей, воспитание, конечно же, государственное, а самовольное материнство карается смертью, так как совершается специальный отбор и подбор будущих отцов и матерей. Милая и трогательная 0-90 из романа «Мы» не имела права на желанного ребенка, потому что не дотягивала десяти сантиметров до «материнской нормы».

Что же происходит с искусством в тоталитарном обществе? Оно приравнивается к некоему общенародному действию. Государство отняло у своих граждан способность к интеллектуальному и художественному творчеству, заменив его Единой Государственной наукой, механической музыкой и государственной поэзией. Стихия творчества насильственно приручена и поставлена на службу обществу. Государственные поэты разят своими «быстрыми, резкими хорями» и «медными ямбами». Стоит обратить внимание на названия поэтических книг, свидетельствующие об утилитарности искусства в таком мире: «Цветы судебных приговоров», трагедия «Опоздавший на работу», «Стансы о половой гигиене», сонет «Счастье» «о вечном счастье таблицы умножения»:

Вечно влюбленные дважды два  
Вечно слитые в стройном четыре,  
Самые жаркие любовники в мире —  
Неотрывающиеся дважды два...<sup>13</sup>

Закономерна область применения такого искусства: высшим знаком отличия для Государственного Поэта становится поручение сочинить оду, посвященную казни одного из нумеров, или, по словам Д-503, «венчать праздник своими стихами». Характерно, что преступлением этого нумера стало сочинение стихов, где Благодетель именовался словами, которые Д-503 даже не решается воспроизвести в своем дневнике. Сакрализация тоталитарного государства неизбежно приводит к обожествлению его руководителя. «Теперь поэзия — уже не беспартийный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность»<sup>14</sup>, — изрекает главный герой.

У Оруэлла в романе постоянно переписывается история, создаются новые учебники. Уже невозможно определить, где настоящее, а где прошлое. Это нужно по двум причинам: первая — профилактическая: и партийцы, и пролы (в особенности, так как их больше 85% и они могут быть опасны) терпят эти условия потому, что им не с чем сравнивать. Люди должны быть полностью отрезаны от прошлого, ибо им надо верить, что они живут лучше предков и что их жизненный уровень постоянно повышается, то есть попросту не знать о другой жизни. Так, все попытки Смита узнать хоть что-то о прошлой жизни не увенчались успехом («1984»). Вторая — более существенная — для сохранения веры в непогрешимость партии. Речи, документы, статистика — все должно подгоняться под сегодняшний день для доказательства того, что все предсказания партии всегда верны. Если факты прошлого противоречат партийной линии — значит, их нужно изменить. Эта ежедневная подчистка прошлого, которой занято Министерство Правды, так же необходима для устойчивости режима, как репрессивная и шпионская работа, выполняемая Министерством Любви. Утверждается, что события прошлого объективно не

существуют, а сохраняются лишь в письменных документах (т. е. в записях) и в человеческих воспоминаниях (т. е. в умах людей). А поскольку партия полностью распоряжается документами, постоянно их исправляя — значит, прошлое такое, каким его хочет сделать партия. И каждая его новая версия — и есть прошлое. В каждый момент, мгновение, партия владеет абсолютной истиной, а абсолютное — то, что сейчас. В этом и причина стабильности партии, поскольку неизвестно будущее, а прошлое — такое, каким его хочет видеть партия, то есть партия всемогуща, нерушима и всегда права. И пролы (а это основная рабочая сила, низшие существа, приравняемые к животным) никогда не взбунтуются, так как они не знают прошлого, а значит, и другой, отличающейся от настоящей жизни. Бунт невозможен: представленные сами себе, пролы из поколения в поколение, из века в век будут все также бесконечно работать, плодиться и умирать, даже не помышляя о бунте. Таким образом, история и время остановились, а значит, и партия будет всегда всемогущей, и режим непоколебим. «Кто управляет прошлым, — гласит партийный лозунг, — тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым»<sup>15</sup>.

Примирение противоречий, двоемыслие в действиях позволяют удерживать власть неограниченно долго. Повсюду фактам верить нельзя. Даже в названиях четырех министерств — беззастенчивое опрокидывание фактов: Министерство Мира ведает войной, Министерство Правды — ложью, Министерство Изобилия морит голодом («1984»).

В Едином Государстве единомыслие достигается уже медицинским путем, а не только с помощью сыскной службы — Бюро Хранителей. И в этой стране создана целая система подавления инакомыслия. Постигая чудовищную логику, а точнее идеологию Единого Государства, необходимо вслушаться в его официальный язык. С первых же страниц романа бросается в глаза обилие оксюморонов: «благодетельное иго разума», «дикое состояние свободы», «наш долг заставить их быть счастливыми», «самая трудная и высокая любовь — это жестокость», «я снова свободен, то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды», «Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными гнетами счастья» и т. д. Это прообраз оруэлловского новояза — официального языка в Океании, словарь которого все время сокращается («1984»). В новоязе все слова были очищены от побочных значений. А если, к примеру, не было свободы слова — значит, таких слов не было и в словаре. Это делалось для того, чтобы люди могли мыслить лишь в одном значении. Такое явление у Оруэлла получило название «самостоп» — инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Новояз — это в то же время образование слов с двойным значением, например, «белочерный» («1984») — это готовность самому назвать белое черным, верить в это и знать это, как  $2 \times 2 = 5$  (там же). Нужно отметить, что формула  $2 \times 2 = 4$  давно стала литературной метафорой: у Достоевского, Пруста, Андре Бретона, Замятина. Но предшественники Оруэлла использовали ее как демонстрацию «тирании рассудка». «Подпольный человек» Достоевского, отвергая во имя свободы мир, где дважды два — четыре, заявляет, что и «дважды два пять — премилая иногда вещичка»<sup>16</sup>, в антиутопии Замятина «Мы» обезличенные номера — рабы тоталитарного государства — скандируют оду  $2 \times 2$  (см. выше). Оруэлл не принимал этого позыва к бессмысленному мятежу, видя в нем агрессию человека. Вопреки предшествующей традиции, формулой свободы личности в «1984» становится  $2 \times 2 = 4$ :

- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?
- Четыре<sup>17</sup>.

Конечно, после очередных мучительных пыток мы слышим победительную речь О'Брайена: «С вами произойдет такое, от чего нельзя оправиться, и проживи вы еще хоть тысячу. Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас все отомрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность, — всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выведем из вас все до капли, а потом заполним собой»<sup>18</sup>. А заполняется такой гражданин такого общества, естественно, любовью к партии и Старшему Брату, и тогда он может не задумываясь и «почти бессознательно» выводить:  $2 \times 2 = 5$ .

Главным достижением и главным преступлением Единого Государства («Мы») является подмена всех человеческих ценностей, выношенных мировой культурой прошлого. Здесь несвобода — счастье, жестокость — проявление любви, а человеческая индивидуальность — преступление. У Оруэлла похожие девизы:

Война — это мир  
Свобода — это рабство  
Незнание — сила<sup>19</sup>.

Чтобы выявить зловещие основы победившей действительности, в сюжет включаются почти невероятные встречи идейных оппонентов, типичные как раз для умышленного мира антиутопий. Это — неприменный диспут между героем, не приспособившимся к «счастливому» миру, и тем вдохновителем и апологетом нового жизнеустройства. В кульминационный момент своего бунта герой антиутопии, как правило, встает перед альтернативой, которую слышит из уст главного идеолога «нового мира»: свобода или счастье.

Прародительницей же современных антиутопий, бесспорно, выступает «Поэма о великом инквизиторе» Достоевского, где «узником и одновременно судьей спроектированного мира несвободы оказывается личность личностей — Иисус Христос»<sup>20</sup>. Великий инквизитор хочет снять с человека бремя свободы, последней религиозной свободы выбора, обольщая человека спокойствием. Он сулит людям счастье, но прежде всего презирает людей, так как не верит, что они в силах вынести бремя свободы, что они достойны вечности. Девизом великого инквизитора является отторжение свободы во имя счастья людей, Бога — во имя человечества. Христос же более всего дорожил свободой, свободной любовью человека. Он не только любил людей, но и уважал их, утверждал достоинство человека, признавал за ним способность достигнуть вечности, хотел для людей не только счастья, а счастья достойного, согласно высшей природы человечества, с абсолютным призванием людей. Инквизитор не верит в это и укоряет Христа: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого бояться они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои... Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами?»<sup>21</sup>. То понимание свободы, которое с такой силой отвергает великий инквизитор, есть поистине самое высокое проникновение в тайну свободы, открывшуюся во



Христе. Но если Христос предлагает свободу людям для того, чтоб стать счастливыми, то инквизитор придерживается совсем иного мнения. Он осуждает Христа, что Тот «поступил, как бы и не любя» людей, а любит людей он, великий инквизитор, так как устраивает их жизнь, отвергнув для них, слабосильных и жалких, «все, что есть необычного, гадательного и неопределенного». Он убедит людей, что они станут свободными, когда откажутся от свободы своей и покорятся ему, великому инквизитору. Та же основополагающая идея лежит в системе правления Единого Государства. Обожествляя житейские явления, что присуще тоталитарным государствам, создаются своего рода квазирелигии. Они-то и противопоставляются христианству. Описывая торжественную литургию Единому Государству, где чувствуется «строгая, готическая тишина», замятинский герой пишет: «Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству — спокойную, обдуманную, разумную жертву»<sup>22</sup>. (Сравним: великий инквизитор вопрошал к Христу: «Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот теперь увидел этих «свободных» людей... Да это дело нам дорого стоило,... но мы dokonчили наконец это дело во имя Твое... Теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим»)<sup>23</sup>.

Руководящий принцип Единого Государства: счастье и свобода несовместимы, вернем счастье, забрав свободу. Разговор замятинского героя Д-513 с Благодетелем и философские рассуждения оруэлловского с О'Брайеном сводятся к рекомендации рассматривать их социальный порядок в качестве земногорая. «Древняя мечта о рае..., — поясняет Благодетель. — Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные, с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи»<sup>24</sup>. Если таков рай, герой выбирает ад и адские средства освобождения. Свобода, которая предпочтена унылому раю, преподносится авторами исключительно как разрушительная. У Замятина борцы с властью Благодетеля и с его раем объединяются в романе под девизом «Мефи», заявляя себя продолжателями «прекрасного юноши» — Мефистофеля, демона, Люцифера. В самом деле, проинтегрированной, вычисленной математически жизни Замятин противопоставляет бунт, арифметически спокойному счастью и размерности — движение, бурю. Возлюбленная Д-513 так объясняет возможность выбора: «Две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою и счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши, или, вернее, ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы, антихристиане,...»<sup>25</sup>. Поэтому не случайно Е. Скороспелова («Замятин и его роман «Мы») видит в «Мефи» наследников идей «бесов» Достоевского, так как и замятинские революционеры и строители Единого Государства претендуют на роль Благодетелей человечества. Оруэлл же рисует следующую картину будущего: «Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти... Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно»<sup>26</sup>. Замятинская проекция в будущее показывала тоталитарную власть и дьявола врагами. Доведенная до

абсурда логика, попытка создать мир белого шума, идеального хаоса под видом порядка, также опасна. Оруэлл объяснил, в какую ловушку может попасть человек, возненавидевший тоталитарное общество, но остающийся под воздействием его идеологии. Мятежные герои «1984»-го дают «адскую» клятву не останавливаться ни перед какими преступлениями в борьбе за свободу от ненавистного им англоца (английского социализма). Они соглашаются убивать, предавать, «шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни, — делать все, что могло бы деморализовать население и ослабить могущество партии»<sup>27</sup>. Поэтому этот же англоц в лице О. Брайена деморализует их, когда в решающий момент ловит их на слове: вы не лучше нас.

Пытки и казни — неперемненные спутники антиутопического мира. Сюжеты антиутопий совпадают между собой в том, что для полной победы над свидетелями чувств, для полной перезарядки сознания одного лишь пропагандно-педагогического штурма недостаточно. Поэтому в сюжетных линиях «Мы» и «1984» заостряется тема хирургического вмешательства и электрошока. Комбинация «лечения» и «пытток», которыми и у Замятина, и у Оруэлла бунтарей «освобождают» от атавистических импульсов, пока они не начинают любить Благодетеля или Старшего Брата, практически одинакова. В конце романа Д-513 наконец излечивается от приступов своей болезни: над ним совершают «Великую операцию» — удаление «центра фантазий» путем «тремякратного прижигания» х-лучами «жалкого мозгового узелка». Математическая организация человечества внутри человеческого сознания — своего рода торжество «генной инженерии», революционное вмешательство государства в строение личности, в ход ее творческой деятельности, эмоциональной сферы, нравственности. Совершеннейшие, изысканные формы насилия над человеческим «я», уничтожение вместе с фантазией личностного самосознания. «Я» перестает существовать как таковое — оно становится лишь органической клеточкой «мы», песчинкой большого коллектива, составляющей толпы.

В финальных сценах «1984»-го вся победительная риторика О. Брайена не имела бы воздействия, если бы его слушатель в этот момент не был прикручен к ложу пыток и если бы оратор не подкреплял свои тезисы болевым электрошоком. Поэтому рядом с любым благонадежным конформистом безотлучно находятся сыщик, хирург и палач. Так, подвергшись операции, Д-503 («Мы») легко делает то, что все время считал себя обязанным сделать — выдать своих сообщников полиции. Он с удовлетворением замечает, что нет больше никакого бреда и «никаких нелепых метафор».

В Едином Государстве проводятся эксперименты не только над людьми. Можно представить, во что превращается природная среда. В городе, где в основном происходит действие, нет ничего живого. Мы не слышим птиц, шелеста деревьев, не видим солнца (солнце, светившее в мире древних, казалось Д-503 «диким»). Технократическому городу-государству противопоставлен в романе мир за Стеной — Живая Природа. Там, за Стеной, жили «естественные» люди — потомки тех, кто ушел после Великой Двухсотлетней Войны в леса. В жизни этих людей есть свобода, они воспринимают окружающий мир эмоционально. Однако Замятин не считает этих людей идеальными — они далеки от технического прогресса, поэтому их общество находится в примитивной стадии развития. Тем самым Замятин выступает за формирование гармонического человека. Нумера и «естественные» люди — это крайности. Мечты писателя о гармоничном человеке можно найти в мучительных

размышлениях Д-503 о «лесных» людях: «Кто они? Половина, которую мы потеряли, H<sub>2</sub> и O — а чтобы получить H<sub>2</sub>O — ручьи, моря, водопады, волны, бури, — нужно, чтобы половины соединились»<sup>28</sup>.

Стена, отделяющая тоталитарный мир города-государства от свободного мира, взорвана. В городе сразу раздаётся птичий гомон — туда приходит жизнь. Стройная логика Единого Государства начинает трещать по швам. Хотя восстание в романе разгромлено и «удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн», конец романа не безнадёжен: за стену, к «лесным» людям удалось уйти «противозаконной матери» O-90. Родившийся в естественном Мире её ребенок от Д-503, видимо, и должен стать одним из первых совершенных людей, в котором соединятся две распавшиеся половины.

Принято считать, что антиутопия, как и породившая её утопия, обращена в будущее. Однако представляется, что прав И. Шайтанов, писавший о романе Замятина: «Вопрос жанра утопии — каким должно быть будущее? Вопрос антиутопии — каким будет будущее, если настоящее, меняясь лишь внешне, материально, захочет им стать?»<sup>29</sup>. Вот почему в том будущем, которое рисуют авторы знаменитых антиутопий, узнаются черты современных им обществ. Только доведенные до предельного выражения, гиперболизированные и подчас гротесковые. То есть в гипотетическом мире антиутопий закономерности, на которых строится жизнь современного общества, привели это общество к своему логическому и неизбежному пределу. «Замятин не собирался придумывать несбыточное, — пишет Шайтанов. — «Мы» — роман о будущем, но это не мечта. Не утопия — это антиутопия. И в нём проверяется состоятельность мечты... Главная его поправка — в романе — касается не техники, это поправка не инженера, а писателя, понимающего, что нельзя сесть в аэро и прилететь к счастью. Нельзя, потому что не улетишь от себя. Прогресс знания — это ещё не прогресс человечества, а будущее будет таким, каким мы его сегодня готовим»<sup>30</sup>. Именно так полагал Замятин. Он утверждал: «Зародыш будущего всегда в настоящем»<sup>31</sup>. Подтверждением этому являются статьи писателя, служащие как бы своеобразным комментарием к роману. В статье «Завтра» он писал: «Вчера был царь и были рабы, сегодня — нет царя, но остались рабы, завтра будут только цари. Мы идем во имя завтрашнего свободного человека — царя. Мы пережили эпоху подавления масс; мы переживаем эпоху подавления личности во имя человека. Война империалистическая и война гражданская — обратили человека в материал для войны, в номер, в цифру. Человек забыт — ради субботы: мы хотим напомнить другое — субботу для человека»<sup>32</sup>. Эпоху подавления личности во имя масс и запечатлел Замятин в романе «Мы», и в этом изображении власть не могла не узнать себя и не поставить заслоны на пути романа к отечественному читателю.

Настойчивое возвращение Замятина к идеям романа «Мы» в 20-ые годы можно рассматривать как форму протеста писателя против суженого толкования произведения. Оно совпало с тем, что в общественном сознании онтологический, космический смысл революции сводился к масштабам политического события. А между тем непрочитанный современниками роман Замятина анализировал последствия остановившейся в своем развитии жизни. Ещё в 1924 году А. Гизетти излагал в своем докладе о целях и задачах, которые ставил перед собой Замятин: «Последней революции нет и не может быть, безгосударственный строй явится результатом тоже какой-нибудь революции. Мечты об эволюционном пути к этому строю — для автора представляются несомненной утопией. Никакой организм, в том числе и государственный, не умирает без борьбы. И вот эта эпоха вырождения механической цивилизации,

эпоха некой отдаленной революции — тема романа»<sup>33</sup>. Идея всеобщего равенства, прямолинейно истолкованная, показывает Замятин, ведет не вперед, а назад — к уравнительному распределению, к всеобщей и равной сытости, к первобытному коммунизму, к исчезновению человека сначала в плане духовно-психологическом, затем — и в прямом, физическом смысле. Нужно отметить, что в социальном интерьере романа отчетливо выявляется жанрово-идейное отличие «1984» от антиутопии Замятина. В «Мы» государство, обезличивая и духовно порабощая человека, компенсирует его сытостью и комфортом. Образ голодного раба представляется Оруэллу значительно более достоверным, чем образ сытого раба. Сознательно противопоставляя «прекрасному новому миру» уродливый, убогий мир, Оруэлл направил политическую сатиру на настоящее, а не на «прекрасное будущее», в которое он, видимо, все-таки верил. Для него материальное благосостояние было условием свободы и духовности.

Замятин неоднократно возражал тем, кто видел в его романе «не больше чем политический памфлет». «Это, конечно, неверно, — писал он, — этот роман — сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого. Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о ньюйоркском издании моего романа, не без основания увидели в этом зеркале и свой фордизм. Очень любопытно, что в своем последнем романе известный английский беллетрист Хаксли развивает почти те же самые идеи и сюжетные положения, которые даны в «Мы». Совпадение, конечно, оказалось случайным. Но такое совпадение свидетельствует, что идеи — кругом нас, в том предгрозовом воздухе, которым мы дышим»<sup>34</sup>. Известно, что Оруэлл знал роман Замятина и восхищался им. Он даже написал эссе, в котором сравнивал эти две книги, отдавая предпочтение роману «Мы». Диагноз, поставленный Замятиным, оказался абсолютным по своей точности, а болезнь — смертельной. Как справедливо заметил А. Зверев: «Судьба Евгения Замятина вполне подтвердила неписанный, но, кажется, обязательный закон, который властвует над творцами антиутопий: сначала их побивают камнями, потом (чаще всего посмертно) принимаются чтить как провидцев»<sup>35</sup>. Со временем книга Замятина обрела аллюзии, не предусмотренными автором (например, Зеленая Стена ассоциировалась то с «железным занавесом», то с «берлинской стеной»), и стала тем зеркалом, в котором тоталитарные режимы XX века получили беспощадное отражение. И прав был Н. Бердяев, который писал, что «утопии страшны тем, что они сбываются». Этому боялся и Оруэлл, придя к выводу, что идея «внутренней свободы» не только утопична, но в ней есть потенциальное оправдание тоталитаризма. Тайная свобода при деспотическом правлении невозможна, так как «ваши мысли никогда полностью вам не принадлежат». «Садистский» финал романа, в котором упрекали Оруэлла некоторые критики, — единственное, что могло убедить читателя: именно потому, что — вопреки демагогии О'Брайена — объективная реальность существует, нельзя воцариться в душе, разрушив и убив ее, и в то же время остаться человеком. И в этом мы полностью придерживаемся точек зрения И. Родрянской и Р. Гальцевой, которые пишут: «Теоретики утопизма подбадривают себя... тем, что «человек бесконечно податлив», что «природу человека творим мы». Однако зловещая и бесплодная практика, о которой поведали антиутопии XX столетия, свидетельствует о том, что задача эта неисполнима: преобразованная в заданном направлении природа человека оказывается уже нечеловеческой. Человека можно испортить, но переделать его нельзя»<sup>36</sup>.

- 1 Чаликова В. Предисловие. Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 7.
- 2 Чистов К. Утопия и современность // Русские Утопии: Альманах. СПб., 1995. С. 54.
- 3 Чаликова В. Предисловие. Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 8.
- 4 Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек: опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12. С. 220.
- 5 Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990. С. 16.
- 6 Там же. С. 96.
- 7 Там же. С. 22.
- 8 Там же. С. 78.
- 9 Там же. С. 36.
- 10 Там же. С. 91.
- 11 Там же. С. 76.
- 12 Там же. С. 83.
- 13 Там же. С. 54.
- 14 Там же. С. 55.
- 15 Оруэлл Дж. 1984 // Новый мир. 1989. № 2. С. 145.
- 16 Достоевский Ф. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1976. С. 119.
- 17 Оруэлл Дж. 1984 // Новый мир. 1989. № 4. С. 102.
- 18 Там же. № 4. С. 105.
- 19 Там же. № 2. С. 138.
- 20 Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек: опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12. С. 202.
- 21 Достоевский Ф. Братья Карамазовы. М., 2003. С. 292.
- 22 Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990. С. 42.
- 23 Достоевский Ф. Братья Карамазовы. М., 2003. С. 290.
- 24 Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990. С. 143.
- 25 Там же. С. 113.
- 26 Оруэлл Дж. 1984 // Новый мир. 1989. № 4. С. 110.
- 27 Там же. № 3. С. 167.
- 28 Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990. С. 112.
- 29 Шайтанов И. Мастер // Вопросы литературы. 1988. № 12. С. 57.
- 30 Там же. С. 55–56.
- 31 Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990. С. 445.
- 32 Там же. С. 402.
- 33 Гизетти А. Дискуссии о современной литературе // Русский современник. 1924. № 2. С. 275–276
- 34 Замятин Е. Сочинения. М., 1989. С. 540.
- 35 Зверев А. Когда пробьет последний час природы... // Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 34–35.
- 36 Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек: опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. № 12. С. 230.